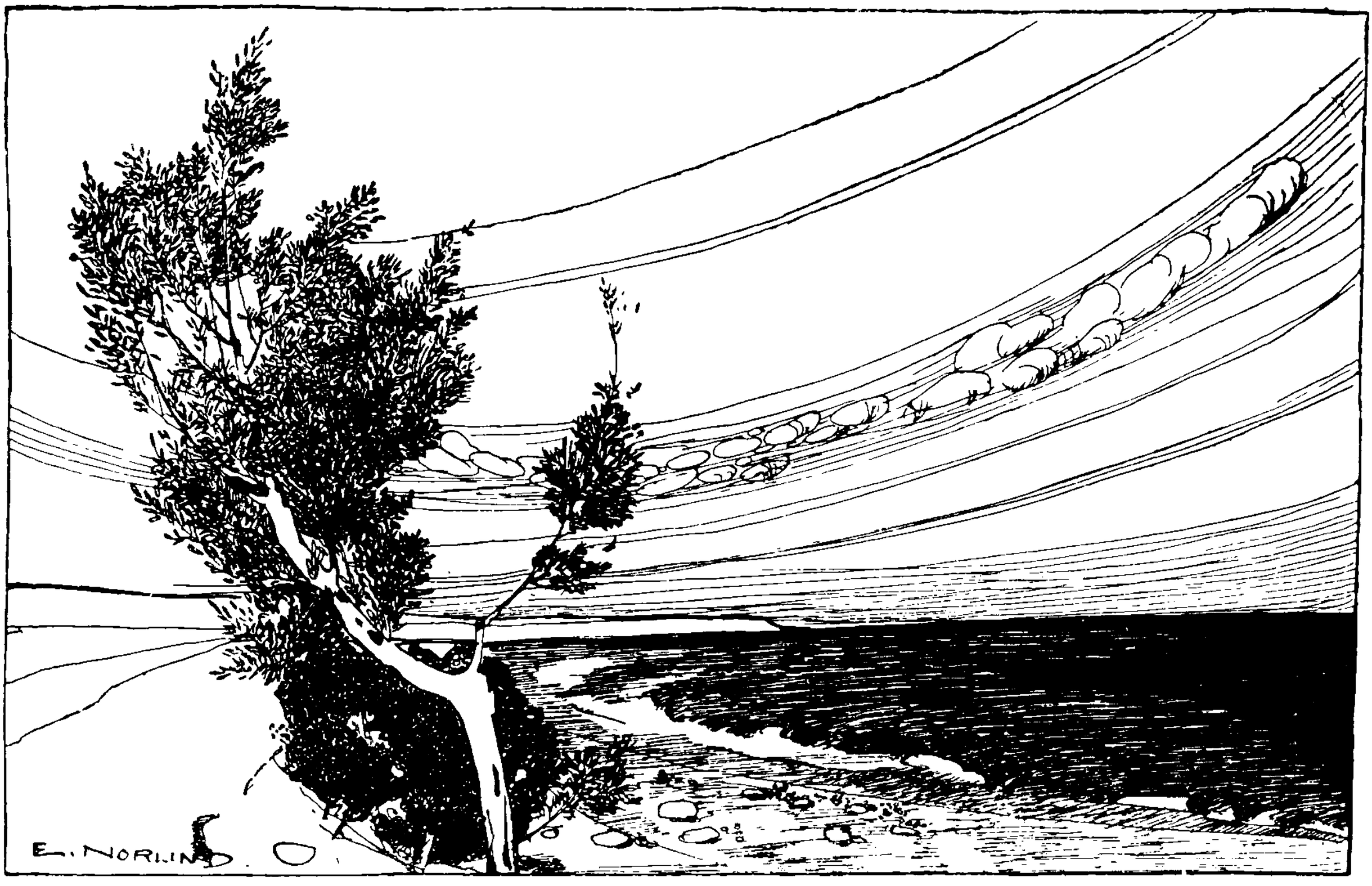

ПРИМЕЧАНИЯ ПАПОРОТНИКА

Иосиф Бродский

HYLAEA

© Joseph Brodsky

Graphic form: Anders Ljungman
Typeset by Jan Benedict

Hylaea
Orrspelsvägen 60
161 28 Bromma
Sweden

Printed by Bohusläningens Boktryckeri AB, Uddevalla 1990
ISBN 91-971447-0-3

Рождественская звезда

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,
чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,
младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;
мело, как только в пустыне может зимой мести.

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар
из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Каспар,
Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.
Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,
на лежащего в яслях ребенка издалека,
из глубины Вселенной, с другого ее конца,
звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд отца.

24 дек. 1987 г.

Новая жизнь

Представь, что война окончена, что воцарился мир.
Что ты еще отражаешься в зеркале. Что сорока
или дрозд, а не юнкерс, щебечет на ветке "чирр".
Что за окном не развалины города, а барокко
города; пинии, пальмы, магнолии, цепкий плющ,
лавр. Что чугунная вязь, в чьих кружевах скучала
луна, в результате вынесла натиск мимозы, плюс
взрыв агавы. Что жизнь нужно начать сначала.

Люди выходят из комнат, где стулья как буква "б"
или как мягкий знак спасают от головокруженья.
Они не нужны никому, только самим себе,
плитняку мостовой и правилам умноженья.
Это – влияние статуй. Вернее, их полых ниш.
То есть, если не святость, то хоть ее синоним.
Представь, что все это – правда. Представь, что ты говоришь
о себе, говоря о них, о лишнем, о постороннем.

Жизнь начинается заново именно так – с картин
изверженья вулкана, шлюпки, попавшей в бурю.
С порожденного ими чувства, что ты один
смотришь на катастрофу. С чувства, что ты в любую
минуту готов отвернуться, увидеть диван, цветы
в желтой китайской вазе рядом с остывшим кофе.
Их кричащие краски, их увядшие рты
тоже предупреждают, впрочем, о катастрофе.

Каждая вещь уязвима. Самая мысль, увы,
о ней легко забывается. Вещи вообще холопы
мысли. Отсюда их формы, взятые из головы,
их привязанность к месту, качества Пенелопы,
то есть, потребность в будущем. Утром кричит петух.
В новой жизни, в гостинице, ты, выходя из ванной,
кутаясь в простыню, выглядишь как пастух
четвероногой мебели, железной и деревянной.

Представь, что эпос кончается идиллией. Что слова –
обратное языку пламени: монологу,
пожиравшему лучших, чем ты, с жадностью, как дрова;
что в тебе оно видело мало проку,
мало тепла. Поэтому ты уцелел.
Поэтому ты не страдаешь слишком от равнодушья
местных помон, вертумнов, венер, церер;
поэтому на устах у тебя эта песнь пастушья.

Сколько можно оправдываться? как ни скрывай тузы,
на стол ложатся вальты неизвестной масти.
Представь, что чем искренней голос, тем меньше в ней слезы,
любви к чему бы то ни было, страха, страсти.
Представь, что порой по радио ты ловишь старый гимн.
Представь, что за каждой буквой здесь тоже плетется свита
букв, слагаясь невольно то в "бетси", то в "ибрагим",
перо выводя за пределы смысла и алфавита.

Сумерки в новой жизни. Цикады с их звонким "ц";
классическая перспектива, где не хватает танка
либо – сырого тумана в ее конце;
голый паркет, никогда не осязавший танго.
В новой жизни мгновенью не говорят "постой":
остановившись, оно быстро идет насмарку.
Да и глянца в чертах твоих хватит уже, чтоб с той
их стороны черкнуть "привет" и приклеить марку.

Белые стены комнаты делаются белей
от брошенного на них якобы для острастки
взгляда, скорей привыкшего не к ширине полей,
но к отсутствию в спектре их отрешенной краски.
Многое можно простить вещи – тем паче, там
где эта вещь кончается. В конечном счете, чувство
любопытства к этим пустым местам,
к их беспредметным ландшафтам и есть искусство.

Облако в новой жизни лучше, чем солнце. Дождь,
будучи непрерывен – вроде самопознанья.
В свою очередь, поезд, которого ты не ждешь
на перроне в плаще, приходит без опозданья.
Там, где есть горизонт, парус ему судья.
Глаз предпочтет обмылок, чем тряпочку или пену.
И если кто-нибудь спросит: "Кто ты?", ответь: "Кто, я?
я – никто", как Улисс некогда Полифему.

1988

Кончится лето. Начнется сентябрь. Разрешат отстрел
утки, рябчика, вальдшнепа. "Ах, как ты постарел",
скажет тебе одна, и ты задерешь двустволку,
но чтоб глубже вздохнуть, а не спугнуть перепелку.
И легкое чутко дернется: с лотков продают урюк.
Но и помимо этого мир вокруг
меняется так стремительно, точно он стал колоться
дурью, приобретенной у смуглого инородца.

Дело, конечно, не в осени. И не в чертах лица,
меняющихся, как у зверя, бегущего на ловца,
но в ощущении кисточки, оставшейся от картины,
лишенной конца, начала, рамы и середины.
Не говоря – музея, не говоря – гвоздя.
И поезд вдали по равнине бежит, свистя,
хотя, вглядевшись как следует, ты не заметишь дыма;
но с точки зренья ландшафта, движенье необходимо.

Это относится к осени, к времени вообще,
когда кончаешь курить и когда еще
деревья кажутся рельсами, сбросившими колеса,
и опушки ржавеют, как узловые леса.
И в горле уже не комок, но стопроцентный еж –
ибо в открытом море больше не узнаёшь
силуэт парохода, и профиль аэроплана,
растерявший все нимбы, выглядит в вышних странно.

Так прибавляют в скорости. Подруга была права.
Что бы узнал древний римлянин, проснись он сейчас? Дрова,
очертания облака, голубя в верхотуре,
плоскую воду, что-то в архитектуре,
но – никого в лицо. Так некоторые порой
ездят еще за границу, но, лишены второй
жизни, спешат воротиться, пряча глаза от страха,
и, не успев улечься от прощального взмаха,
платочек трепещет в воздухе. Другие, кому уже
выпало что-то любить больше, чем жизнь, в душе
зная, что старость – это и есть вторая
жизнь, белеют на солнце, как мрамор, не загорая,
уставившись в некую точку и не чужды утех
истории. Потому что чем больше тех
точек, тем больше крапинок на проигравших в прятки
яйцах рябчика, вальдшнепа, вспугнутой куропатки.

Аллея со статуями из затвердевшей грязи,
похожими на срубленные деревья.
Многих я знал в лицо. Других
вижу впервые. Видимо это – боги
местных рек и лесов, хранители тишины,
либо – сгустки чужих, мне не внятных воспоминаний.
Что до женских фигур – нимф и т. п. – они
выглядят незаконченными, точно мысли;
каждая пытается сохранить
даже здесь, в наступившем будущем, статус гостьи.

Суслик не выскочит и не перебежит тропы.
Не слышно ни птицы, ни, тем более, автомобиля:
будущее суть панацея от
того, чему свойственно повторяться.
И по небу разбросаны, как вещи холостяка,
тучи, вывернутые наизнанку
и разглаженные. Пахнет хвоей,
этой колкой субстанцией малознакомых мест.
Изваяния высятся в темноте, чернея
от соседства друг с дружкой, от безразличья
к ним окружающего ландшафта.

Заговори любое из них, и ты
скорей вздохнул бы, чем содрогнулся,
услышав знакомые голоса, услышав
что-нибудь вроде "Ребенок не от тебя"

или "Я показал на него, но от страха,
а не из ревности" – мелкие, двадцатилетней
давности тайны слепых сердец,
одержимых нелепым стремлением к власти
над себе подобными и не замечавших
тавтологии. Лучшие среди них
были и жертвами и палачами.

Хорошо, что чужие воспоминанья
вмешиваются в твои. Хорошо, что
некоторые из этих фигур тебе
кажутся посторонними. Их присутствие намекает
на другие событья, на другой вариант судьбы –
возможно, не лучший, но безусловно
тобою упущенный. Это освобождает –
не столько воображение, сколько память,
и надолго, если не навсегда.

Узнать,
что тебя обманули, что совершенно
о тебе позабыли или – наоборот –
что тебя до сих пор ненавидят – крайне
неприятно. Но воображать себя
центром даже невзрачного мирозданья
непристойно и невыносимо.

Редкий,
возможно, единственный посетитель
этих мест, я думаю, я имею
право описывать без прикрас
увиденное. Вот она, наша маленькая Валгалла,
наше сильно запущенное именье
во времени, с горсткой ревизских душ,
с угодьями, где отточенному серпу,
пожалуй, особенно не разгуляться,
и где снежинки медленно кружатся, как пример
поведения в вакууме.

L. K.

В этой маленькой комнате все по-старому:
аквариум с рыбкою – все убранство.
И рыбка плавает, глядя в сторону,
чтоб увеличить себе пространство.

С тех пор, как ты навсегда уехала,
похолодало, и чай не сладок.
Сделавшись мраморным, место около
в сумерках сходит с ума от складок.

Колесо и каблук оставляют в покое улицу,
горделивый платан не меняет позы.
Две половинки карманной луковицы
после восьми могут вызвать слезы.

Часто чудится Греция: некая роща, некая
охотница в тунике. Впрочем, чаще
нагая преследует четвероногое
красное дерево в спальной чаще.

Между квадратом окна и портретом прадеда
даже нежный сквозняк выберет занавеску.
И если случается вспомнить правило,
то с опозданием и не к месту.

В качку, увы, не устоять на палубе.
Бурю, увы, не срисовать с натуры.
В городах только дрозды и голуби
верят в идею архитектуры.

Несомненно, все это скоро кончится –
быстро и, видимо, некрасиво.
Мозг – точно айсберг с потекшим контуром,
сильно увлекшийся Куросиво.

Назидание

I

Путешествуя в Азии, ночуя в чужих домах,
в избах, банях, лабазах – в бревенчатых теремах,
чьи копченые стекла держат простор в узде,
укрывайся тулупом и норови везде
лечь головою в угол, ибо в углу трудней
взмахнуть – притом в темноте – топором над ней,
отяжелевшей от давеча выпитого, и аккурат
зарубить тебя насмерть. Вписывай круг в квадрат.

II

Бойся широкой скулы, включая луну, рябой
кожи щеки; предпочитай карему голубой
глаз – особенно если дорога заводит в лес,
в чащу. Вообще в глазах главное – их разрез,
так как в последний миг лучше увидеть то,
что – хотя холодней – прозрачнее, чем пальто,
ибо лед может треснуть, и в полынье
лучше барахтаться, чем в вязком, как мед, вранье.

III

Всегда выбирай избу, где во дворе висят
пеленки. Якшайся лишь с теми, которым под пятьдесят.
Мужик в этом возрасте знает достаточно о судьбе,
чтоб приписать за твой счет что-то еще себе;
то же самое – баба. Прячь деньги в воротнике
шубы; а если ты странствуешь налегке –
в брючине ниже колена, но не в сапог: найдут.
В Азии сапоги – первое, что крадут.

IV

В горах продвигайся медленно; нужно ползти – ползи.
Величественные издалека, бессмысленные вблизи,
горы есть форма поверхности, поставленной на попа,
и кажущаяся горизонтальной вьющаяся тропа
в сущности вертикальна. Лежа в горах – стоишь,
стоя – лежишь, доказывая, что лишь
падая ты независим. Так побеждают страх,
головокруженье над пропастью либо восторг в горах.

V

Не откликайся на "Эй, паря". Будь глух и нем.
Даже зная язык, не говори на нем.
Старайся не выделяться – в профиль, в анфас; порой
просто не мой лица. И когда пилой
режут горло собаке, не морщься. Куря, гаси
папиросу в плевке. Что до вещей, носи
серое, цвета земли; в особенности – белье,
чтобы уменьшить сооблазн тебя закопать в нее.

VI

Остановившись в пустыне, складывай из камней
стрелу, чтоб, внезапно проснувшись, тотчас узнать по ней
в каком направленьи двигаться. Демоны по ночам
в пустыне терзают путника. Внемлющий их речам
может легко заблудиться: шаг в сторону – и кранты.
Призраки, духи, демоны – дома в пустыне. Ты
сам убедишься в этом, песком шурша,
когда от тебя останется тоже одна душа.

VII

Никто никогда ничего не знает наверняка.
Глядя в широкую, плотную спину проводника,
думай, что смотришь в будущее, и держись
от него по возможности на расстояньи. Жизнь
в сущности есть расстояние – между сегодня и
завтра, иначе – будущим. И убыстрять свои
шаги стоит только ежели кто гонится по тропе
сзади: убийца, грабители, прошлое и т. п.

VIII

В кислом духе тряпья, в запахе кизяка,
цени равнодушье вещи к взгляду издалека
и сам теряй очертанья, недосягаем для
бинокля, воспоминаний, жандарма или рубля.
Кашляя в пыльном облаке, чавкая по грязи,
какая разница, чем окажешься ты вблизи?
Даже еще и лучше, что человек с ножом
о тебе не успеет подумать как о чужом.

IX

Реки в Азии выглядят длинней, чем в других частях
света, богаче аллювием, то есть – мутней; в горстях,
когда из них зачерпнешь, остается ил,
и пьющий из них сокрушается после о том, что пил.
Не доверяй отраженью. Переплывай на ту
сторону только на сбитом тобою самим плоту.
Знай, что отблеск костра ночью на берегу,
вниз по реке скользя, выдаст тебя врагу.

X

В письмах из этих мест не сообщай о том,
с чем столкнулся в пути. Но, шелестя листом,
повествуй о себе, о чувствах и проч. – письмо
могут перехватить. И вообще само
перемещенье пера вдоль по бумаге есть
увеличение разрыва с теми, с кем больше сесть
или лечь не удастся, с кем – вопреки письму –
ты уже не увидишься. Все равно, почему.

XI

Когда ты стоишь один на пустом плоскогорьи, под
бездонным куполом Азии, в чьей синеве пилот
или ангел разводит изредка свой крахмал;
когда ты невольно вздрагиваешь, чувствуя, как ты мал,
помни: пространство, которому кажется ничего
не нужно, на самом деле нуждается сильно во
взгляде со стороны, в критерии пустоты.
И сослужить эту службу способен только ты.

Только пепел знает, что значит сгореть дотла.
Но я тоже скажу, близоруко взглянув вперед:
не все уносимо ветром, не все метла,
широко забирая по двору, подберет.
Мы останемся смятым окурком, плевком, в тени
под скамьей, куда угол проникнуть лучу не даст,
и слежимся в обнимку с грязью, считая дни,
в перегной, в осадок, в культурный пласт.
Замаравши совок, археолог разинет пасть
отрыгнуть; но его открытие прогремит
на весь мир, как зарытая в землю страсть,
как обратная версия пирамид.
"Падаль", выдохнет он, обхватив живот,
но окажется дальше от нас, чем земля от птиц,
потому что падаль – свобода от клеток, свобода от
целого: апофеоз частиц.

Реки

Растительность в моем окне! зеленый колер!
Что на вершину посмотреть, что в корень –
почувствуешь головокруженье, рвоту;
и я предпочитаю воду,
хотя бы – пресную. Вода – беглец от места,
предместья, набережной, арки, крова,
из-под моста – из-под венца невеста!
фамилия у ней – серова. .
Куда как женственна! и так на жизнь похожа
ее то матовая, то вся в морщинках кожа
неудержимостью, смятеньем, грустью,
стремленьем к устью
и к безымянности. Волна всегда стремится
от отраженья, от судьбы отмыться,
чтобы смешаться с горизонтом, с солью,
с прошедшей болью.

Кентавры I

Наполовину красавица, наполовину софá, в просторечьи – Сóфа,
по вечерам оглашая улицу, чьи окна отчасти лица,
стуком шести каблуков (в конце концов, катастрофа
– то, в результате чего трудно не измениться),
она спешит на свидание. Любовь состоит из тюля,
волоса, крови, пружин, валика, счастья, родов.
На две трети мужчина, на одну легковая – Муля –
встречает ее рычанием холостых оборотов
и увлекает в театр. В каждом бедре с пеленок
сидит эта склонность мышцы к мебели, к выкрутасам
красного дерева, к шкапу, у чьих филенок,
в свою очередь, склонность к трем четвертям, к анфасам
с отпечатками пальцев. Увлекает в театр, где, спрятавшись
в пятый угол,
наезжая впотьмах друг на дружку, меся колесом фанеру,
они наслаждаются в паузах драмой из жизни кукол,

чем мы и были, собственно, в нашу эру.

Кентавры II

Они выбегают из будущего и, прокричав "напрасно",
тотчас в него возвращаются; вы слышите их чечетку.
На ветку садятся птицы большие, чем пространство,
в них – ни пера, ни пуха, а только к черту, к черту.
Горизонтальное море, крашеное закатом.
Зимний вечер, устав от его заочной
синевы, поигрывает, как атом
накануне распада и проч., цепочкой
от часов. Тело сгоревшей спички,
голая статуя, безлюдная танцплощадка
слишком реальны, слишком стереоскопичны,
потому что им больше не во что превращаться.
Только плоские вещи, как то: вода и рыба,
слившись, в силах со временем дать вам ихтиозавра.
Для возникшего в результате взрыва
профиля не существует завтра.

Кентавры III

Помесь прошлого с будущим, данная в камне, крупным
планом. Развитым торсом и конским крупом.
Либо – простым грамматическим "был" и "буду"
в настоящем продолженном. Дать эту вещь как груду
скушных подробностей, в голой избе на курьих
ножках. Плюс нас, со стороны, на стульях.
Или – слившихся с теми, кого любили
в горизонтальной постели. Или в автомобиле,
суть в плену перспективы, в рабстве у линий. Либо
просто в мозгу. Дать это вслух, крикливо,
мыслью о смерти – частой, саднящей, вещной.
Дать это жизнью сейчас и вечной
жизнью, в которой, как яйца в сетке,
мы все одинаковы и страшны наседке,
повторяющей средствами нашей эры
шестикрылую помесь веры и стратосферы.

Кентавры IV

Местность цвета сапог, цвета сырой портянки;
совершенно неважно, который век или который год.
На закате ревут, возвращаясь с полей, муу-танки:
крупный единорогий скот.
Все переходят друг в друга с помощью слова "вдруг"
– реже во время войны, чем во время мира.
Меч, стосковавшись по телу при перековке в плуг,
выскальзывает из рук как мыло.
Поводок норовит отличить владельцев от их собак,
в книге вторая буква выглядит слепком с первой;
возле кинотеатра толпятся подростки, как
белоголовки с замершей спермой.
Загнанные в тупик многие поезда
улиц города; и только в мозгу ветерана чернеет квадрат окопа
с ржавой водой, в который могла б звезда
упасть, спасаясь от телескопа.

Дождь в августе

Среди бела дня начинает стремглав смеркаться, и
кучевое пальто норовит обернуться шубой
с неземного плеча. Под напором дождя акация
становится слишком шумной.
Не иголка, не нитка, но нечто бесспорно швейное,
фирмы Зингер почти с примесью ржавой лейки,
слышится в этом стрекоте: и герань обнажает шейные
позвонки белошвейки.
Как семейно шуршанье дождя! как хорошо заштопаны
им прорехи в пейзаже изношенном, будь то выпас
или междудеревье, околица, лужа – чтоб они
зренью не дали выпасть
из пространства. Дождь! двигатель близорукости,
летописец вне кельи, жадный до пищи постной,
испещряющий суглинок, точно перо без рукописи,
клинописью и оспой.
Повернуться спиной к окну и увидеть шинель с погонами
на коричневой вешалке, чернобурку на спинке кресла,
бахрому желтой скатерти, что, совладав с законами
тяготенья, воскресла
и накрыла обеденный стол, за которым втроем за ужином
мы сидим поздно вечером, и ты говоришь сонливым,
совершенно моим, но дальностью лет приглушенным
голосом: "Ну и ливень."

Открытка из Лиссабона

Монументы событиям, никогда не имевшим места:

Несостоявшимся кровопролитным войнам.
Фразам, проглоченным в миг ареста.
Помеси голого тела с хвойным
деревом, давшей Сан-Себастьяна.
Авиаторам, воспарявшим к тучам
посредством крылатого фортепьяно.
Создателю двигателя с горючим
из отходов воспоминаний. Женам
мореплавателей – над блюдом
с одинокой яичницей. Обнаженным
Конституциям. Полногрудым
Независимостям. Кометам,
пролетевшим мимо земли (в погоне
за бесконечностью, чьим приметам
соответствуют эти ландшафты, но не
полностью). Временному соитью
в бороде арестанта идеи власти
и растительности. Открытью
Инфарктики – неизвестной части
того света. Ветреному кубисту
кровель, внемлющему сопрано
театральных линий. Самоубийству
от безответной любви Тирана.

Землетрясенью – подчеркивает современник –
народом встреченному с восторгом.
Руке, никогда не сжимавшей денег,
тем более – детородный орган.
Сумме зеленых листьев, вправе
заранее презирать их разность.
Счастью. Снам, навязавшим яви
за счет населенья свою бессвязность.

1988

В кафе

Под раскидистым вязом, шепчущим "че-ше-ще",
превращая эту кофейню в нигде, в вообще
место – как всякое дерево, будь то вяз
или ольха – ибо зелень переживает вас,

я, иначе – никто, всечеловек, один
из, подсохший мазок в одной из живых картин,
которые пишет время, макая кисть
за неимением, верно, лучшей палитры в жисть,

сижу, шелестя газетой, раздумывая, с какой
натуры все это списано? чей покой,
безымянность, безадресность, форму небытия
мы повторяем в летних сумерках – вяз и я?

Элегия

Постоянство суть эволюция принципа помещенья
в сторону мысли. Продолженье квадрата или
параллелепипеда средствами, как сказал бы
тот же самый Кла́узевиц, голоса или извилин.
О, сжавшаяся до размеров клетки
мозга комната с абажуром,
шкаф типа "гей славяне", четыре стула,
козетка, кровать, туалетный столик
с лекарствами, расставленными наподобье
кремля или, лучше сказать, нью-йорка.
Умереть, бросить семью, уехать,
сменить полушарие, дать вписать
другие овалы в четырехугольник
– тем громче пыльное помещенье
настаивает на факте существованья,
требуя ежедневных жертв от новой
местности, мебели, от силуэта в желтом
платье; в итоге – от самого себя.
Пауку – одно удовольствие заштриховывать пятый угол.
Эволюция не приспособленье вида
к незнакомой среде, но победа воспоминаний
над действительностью. Зависть ихтиозавра
к амебе. Расхлябанный позвоночник
поезда, громыхающий в темноте
мимо плотно замкнутых на ночь створок
деревянных раковин с их бесхребетным, влажным,
жемчужину прячущим содержимым.

1989

На столетие Анны Ахматовой

Страницу и огонь, зерно и жернова,
секиры острие и усеченный волос –
Бог сохраняет все; особенно – слова
прощенья и любви, как собственный свой голос.

В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст,
и заступ в них стучит; ровны и глуховаты,
затем что жизнь – одна, они из смертных уст
звучат отчетливей, чем из надмирной ваты.

Великая душа, поклон через моря
за то, что их нашла, – тебе и части тленной,
что спит в родной земле, тебе благодаря
обретшей речи дар в глухонемой вселенной.

Июль 1989 г.

Памяти отца: Австралия

Ты ожил, снилось мне, и уехал
в Австралию; голос с трехкратным эхом
окликал и жаловался на климат
и насчет квартиры, что скоро снимут,
жаль не в центре, но около океана,
третий этаж без лифта, зато есть ванна,
пухнут ноги, а тапочки я оставил,
прозвучавшее внятно и деловито;
и внезапно в трубке завыло "Аделаида, Аделаида",
загремело, захлопало, точно ставень
бился о стенку, готовый сорваться с петель.

Все-таки это лучше, чем мягкий пепел
крематория в банке, ее залога, –
эти обрывки голоса, монолога
и попытки прикинуться нелюдимым

в первый раз с той поры, как ты обернулся дымом.

1989

Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером
подышать свежим воздухом, веющим с океана.
Закат догорал на галерке китайским веером,
и туча клубилась, как крышка концертного фортепьяно.

Четверть века назад ты питала пристрастье к люля и к финикам,
рисовала тушью в блокноте, немножко пела,
развлекалась со мной; но потом сошлась с инженером-химиком
и, судя по письмам, чудовищно поглупела.

Теперь тебя видят в церквях в провинции и в метрополии
на панихидах по общим друзьям, идущих теперь сплошною
чередой; и я рад, что на свете есть расстоянья более
немыслимые, чем между тобой и мною.

Не пойми меня дурно: с твоим голосом, телом, именем
ничего уже больше не связано. Никто их не уничтожил,
но забыть одну жизнь человеку нужна, как минимум,
еще одна жизнь. И я эту долю прожил.

Повезло и тебе: где еще, кроме разве что фотографии,
ты пребудешь всегда без морщин, молода, весела, глумлива?
Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии.
Я курю в темноте и вдыхаю гнилье отлива.

1989

Fin de siècle

Век скоро кончится, но раньше кончусь я.
Это, боюсь, не вопрос чутья.
Скорей – влиянье небытия

на бытие: охотника, так сказать, на дичь,
будь то сердечная мышца или кирпич.
Мы слышим, как свищет бич,

пытаясь припомнить отчества тех, кто нас любил,
барахтаясь в скользких руках лепил.
Мир больше не тот, что был

прежде, когда в нем царили страх, абажур, фокстрот,
кушетка и комбинация, соль острот.
Кто думал, что их сотрет,

как резинкой с бумаги усилья карандаша,
время? Никто, ни одна душа.
Однако, время, шурша,

сделало именно это. Поди его упрекни.
Теперь повсюду антенны, подростки, пни
вместо деревьев. Ни

в кафе не встретить сподвижника, раздавленного судьбой,
ни в баре уставшего пробовать возвыситься над собой
ангела в голубой

юбке и кофточке. Всюду полно людей,
стоящих то плотной толпой, то в виде очередей.
Тиран уже не злодей
но посредственность. Также автомобиль
больше не роскошь, но способ выбить пыль
из улицы, где костыль

инвалида поди навсегда умолк,
и ребенок считает, что серый волк
страшней, чем пехотный полк.

И как-то тянет все чаще прикладывать носовой
к органу зрения, занятому листвой,
принимая на свой

счет возникающий в ней пробел,
глаголы в прошедшем времени, букву "л",
арию, что пропел

голос кукушки. Теперь он звучит грубей,
чем тот же Каварадосси – примерно как "хоть убей"
или "больше не пей",

и рука выпускает пустой графин.
Однако, в дверях не священник и не раввин,
но эра по кличке fin

de siècle. Модно все черное: сорочка, чулки, белье;
когда в результате вы это все с нее
стаскиваете, жилье

озаряется светом примерно в тридцать ватт,
но с уст вместо радостного "виват"
срывается "виноват".

Новые времена! Печальные времена!
Вещи в витринах, носящие собственные имена,
делятся ими на

те, которыми вы в состояньи пользоваться, и те,
которые, по собственной темноте,
вы приравниваете к мечте

человечества – в сущности, от него
другого ждать не приходится – о нео-
душевленности холуя и о

вообще анонимности. Это, увы, итог
размножения, чей исток
не брюки и не Восток,

но электричество. Век на исходе. Бег
времени требует жертвы, развалины. Баальбек
его не устраивает; человек

тоже. Подай ему чувства, мысли, плюс
воспоминания. Таков аппетит и вкус
времени. Не тороплюсь

но подаю. Я не трус; я готов быть предметом из
прошлого, если таков каприз

времени, сверху вниз

смотрящего – или через плечо –
на свою добычу, на то, что еще
шевелится и горячо

наощупь. Я готов, чтоб меня песком
занесло и чтоб на меня пешком
путешествующий глазком

объектива не посмотрел и не
исполнился сильных чувств. По мне,
движущееся вовне

время не стоит внимания. Движущееся назад
сто́ит, или стои́т, как иной фасад,
смахивая то на сад,

то на партию в шахматы. Век был, в конце концов,
неплох. Разве что мервецов
в избытке; но и жильцов,

включая автора данных строк,
тоже хоть отбавляй, и впрок
впору, давая срок,

мариновать или сбивать их в сыр
в камерной версии черных дыр,
в космосе; либо – самый мир

сфотографировать и размножить – шесть
на девять, что исключает лесть –
чтоб им после не лезть

впопыхах друг на дружку, как штабель дров.
Под аккомпанимент авиакатастроф
век кончается; проф.

бубнит, тыча пальцем вверх, о слоях земной
атмосферы, что объясняет зной,
а не как из одной

точки попасть туда, где к составу туч
примешиваются наши "спаси", "не мучь",
"прости", вынуждая луч

разменивать его золото на серебро.
Но век, собирая свое добро,
расценивает как ретро

и это. На полюсе лает собака и реет флаг.
На западе глядят на Восток в кулак,
видят забор, барак,

в котором царит оживленье. Вспугнуты лесом рук,
птицы вспархивают и летят на юг,
где есть арык, урюк,

пальма, тюрбаны, и где-то звучит там-там.
Но, присматриваясь к чужим чертам,
ясно, что там и там

главное сходство между простым пятном
и, скажем, классическим полотном
в том, что вы их в одном

экземпляре не встретите. Природа, как бард вчера –
копирку, как мысль чела –
букву, как рой – пчела,

искренне ценит принцип массовости, тираж,
страшась исключительности, пропаж
энергии, лучший страж

каковой есть распущенность. Пространство заселено.
Трению времени о него вольно
усиливаться сколько влезет. Но

ваше веко смыкается. Только одни моря
невозмутимо синеют, издали говоря
то слово "заря", то – "зря".

И услышавши это хочется бросить рыть
землю, сесть на пароход и плыть,
и плыть – не с целью открыть
остров или растенье, прелесть иных широт,
новые организмы, но ровно наоборот;
главным образом – рот.

1989

Сюзанне Мартин

Пчелы не улетели, всадник не ускакал. В кофейне
"Яникулум" новое кодло болтает на прежней фене.
Тая в стакане, лед позволяет дважды
вступить в ту же самую воду, не утоляя жажды.

Восемь лет пронеслось. Вспыхивали, затухали
войны, рушились семьи, в газетах мелькали хари,
падали аэропланы, и диктор вздыхал "о, Боже".
Белье еще можно выстирать, но не разгладить кожи
даже пылкой ладонью. Солнце над зимним Римом
борется врукопашную с сизым дымом;
пахнет жженным листом, и блещет фонтан, как орден,
выданный за бесцельность выстрелу пушки в полдень.

Вещи затвердевают, чтобы в памяти их не сдвинуть
с места; но в перспективе возникнуть трудней, чем сгинуть
в ней, выходящей из города, переходящей в годы
в погоне за чистым временем, без счастья и терракоты.

Жизнь без нас, дорогая, мыслима – для чего и
существуют пейзажи, бар, холмы, кучевое
облако в чистом небе над полем того сраженья,
где статуи стынут, празднуя победу телосложенья.

18 янв. 1989 г.

Бегство в Египет

...погонщик возник неизвестно откуда.

В пустыне, подобранной небом для чуда,
по принципу сходства, случившись ночлегом,
они жгли костер. В заметаемой снегом
пещере, своей не предчувствуя роли,
младенец дремал в золотом ореоле
волос, обретавших стремительно навык
свеченья – не только в державе чернявых,
сейчас, – но и вправду подобно звезде,
покуда земля существует: везде.

25 дек. 1988 г.

Доклад для симпозиума

Предлагаю вам небольшой трактат
об автономности зрения. Зрение автономно
в результате зависимости от объекта
внимания, расположенного неизбежно
вовне; самое себя глаз никогда не видит.
Сузившись, глаз уплывает за
кораблем, вспархивает вместе с птичкой с ветки,
заволакивается облаком сновидений,
как звезда; самое себя глаз никогда не видит.
Уточним эту мысль и возьмем красавицу.
В определенном возрасте вы рассматриваете красавиц,
не надеясь покрыть их, без прикладного
интереса. Не взирая на это, глаз,
как невыключенный телевизор
в опустевшей квартире, продолжает передавать
изображение. Спрашивается – чего ради?
Далее – несколько тезисов из лекции о прекрасном.
Зрение – средство приспособленья
организма к враждебной среде. Даже когда вы к ней
полностью приспособились, среда эта остается
абсолютно враждебной. Враждебность среды растет
по мере в ней вашего пребыванья;
и зрение обостряется. Прекрасное ничему
не угрожает. Прекрасное не таит
опасности. Статуя Аполлона

не кусается. Белая простыня
тоже. Вы кидаетесь за шуршавшей юбкой
в поисках мрамора. Эстетическое чутье
суть слепок с инстинкта самосохраненья
и надежней, чем этика. Уродливое трудней
превратить в прекрасное, чем прекрасное
изуродовать. Требуется сапер,
чтобы сделать опасное безопасным.
Этим попыткам следует рукоплескать,
оказывать всяческую поддержку.
Но, отделившись от тела, глаз
скорей всего предпочтет поселиться где-нибудь
в Италии, Голландии или в Швеции.

Torö, авг. 1989 г.

Примечания папоротника

Gedenke meiner,
flüstert der Staub
– Peter Huchel

По положению пешки догадываешься о короле.
По полоске земли вдалеке – что находишься на корабле.
По сытым ноткам в голосе нежной подруги в трубке
– что объявился преемник: студент? хирург?
инженер? По названию станции – Одинбург –
что пора выходить, что яйцу не сносить скорлупки.

В каждом из нас сидит крестьянин, специалист
по прогнозам погоды. Как то: осенний лист,
падая вниз лицом, сулит недород. Оракул
не лучше, когда в жилище входит закон в плаще:
ваши дни сочтены – судьёю или вообще
у вас их, что называется, кот наплакал.

Что-что, а примет у нас природа не отберет.
Херувим – тот может не знать, где у него перед,
где зад. Не то человек. Человеку всюду
мнится та перспектива, в которой он
пропадает из виду. И если он слышит звон,
то звонят по нему: пьют, бьют и сдают посуду.

Поэтому лучше бесстрашие! Линия на руке,
пляска розовых цифр в троллейбусном номерке,
плюс эффект штукатурки в комнате Валтасара
подтверждают лишь то, что у судьбы, увы,
вариантов меньше, чем жертв; что вы
скорей всего кончите именно как сказала

цыганка вашей соседке, брату, сестре, жене
приятеля – а не вам. Перо скрипит в тишине,
в которой есть нечто посмертное, обратное танцам в клубе,
настолько она оглушительна; некий анти-обстрел.
Впрочем, все это значит просто, что постарел,
что червяк устал извиваться в клюве.

Пыль садится на вещи летом, как снег зимой.
В этом – заслуга поверхности, плоскости. В ней самой
есть эта тяга вверх: к пыли и к снегу. Или
просто к небытию. И, сродни строке,
"не забывай меня" шепчет пыль руке
с тряпкой, и мокрая тряпка вбирает шепот пыли.

По силе презренья догадываешься: новые времена.
По сверканью звезды – что жалость отменена
как уступка энергии низкой температуре
либо как указанье, что самому пора
выключить лампу; что скрип пера
в тишине по бумаге – бесстрашье в миниатюре.

Внемлите же этим словам, как пению червяка,
а не как музыке сфер, рассчитанной на века;
глуше птичкиной песни, оно звончей, чем щучья
песня. Того, что грядет, не остановить дверным
замком. Но дурное не может произойти с дурным
человеком, и страх тавтологии – гарантия благополучья.

1989

Памяти Геннадия Шмакова

Извини за молчанье. Теперь
ровно год, как ты нам в киловаттах
выдал статус курей слеповатых
и глухих – в децибеллах – тетерь.

Видно, глаз чтит великую сушь,
плюс от ходиков слух заложило:
умерев, как на взгляд старожила –
пассажир, ты теперь вездесущ.

Может статься, тебе, хвастуну,
резонеру, сверчку, черноусу,
ощущавшему даже страну
как безадресность, это по вкусу.

Коли так, гедонист, латинист,
в дебрях северных мерзнувший эллин,
жизнь свою, как исписанный лист,
в пламя бросивший, – будь беспределен,

повсеместен, почти уловим
мыслью вслух, как иной небожитель.
Не сказать "херувим", "серафим",
но – трехмерных пространств нарушитель.

Знать, теперь, недоступный узде
тяготенья, вращению блюдец
и голов, ты взаправду везде,
гастроном, критикан, себялюбец.

Значит, воздуха каждый глоток,
тучка рваная, жиденький ельник,
это – ты, однокашник, годок,
брат молочный, наперсник, подельник.

Может статься, ты вправду целей
в пляске атомов, в свалке молекул,
углерода, кристаллов, солей,
чем когда от страстей кукарекал.

Может, вправду, как пел твой собрат,
сентименты сильней без вместилищ,
и постскриптум махровей стократ,
чем цветы театральных училищ.

Впрочем, вряд ли. Изнанка вещей
как защита от мины капризной
солоней атлантических щей,
и не слаще от сходства с отчизной.

Но, как знавший чернильную спесь,
ты оттуда простишь этот храбрый
перевод твоих лядвий на смесь
астрономии с абракадаброй.

Сотрапезник, ровесник, двойник,
молний с бисером щедрый метатель,
лучших строк поводырь, проводник
просвещения, лучший читатель!

Нищий барин, исчадье кулис,
бич гостиных, паша оттоманки,
обнажавшихся рощ кипарис,
пьяный пеньем великой гречанки,

– окликать тебя бестолку. Ты,
выжав сам все, что мог, из потери,
безразличен к фальцету тщеты,
и когда тебя ищут в партере,

ты бредешь, как тот дождь, стороной,
вьешься вверх струйкой пара над кофе,
треплешь парк, набегаешь волной
на песок где-нибудь в Петергофе.

Не впервой! так разводят круги
в эмпиреях, как в недрах колодца.
Став ничем, человек – вопреки
пенью хора – во всем остается.

Ты теперь на все руки мастак –
бунта листьев, падения хунты –
часть всего, заурядный тик-так;
проще – топливо каждой секунды.

Ты теперь, в худшем случае, пыль,
свою выше ценящая небыль,
чем салфетки, блюдущие стиль
твердой мебели; мы – эта мебель.

Длинный путь от Уральской гряды
с прибауткою "вольному – воля"
до разреженной внешней среды,
максимально – магнитного поля!

Знать, ничто уже, цепью гремя
как причины и следствия звенья,
не грозит тебе там, окромя
знаменитого нами забвенья.

21 авг. 1989 г.

Облака

О, облака
Балтики летом!
Лучше вас в мире этом
я не видел пока.

Может, и в той
вы жизни клубитесь
– конь или витязь,
реже – святой.

Только Господь
вас видит с изнанки,
точно из нанки
рыхлую плоть.

То-то же я,
страхами крепок,
вижу в вас слепок
с небытия,

с жизни иной.
Путь над гранитом,
над знаменитым
мелкой волной

морем держа,
вы – изваянья
существованья
без рубежа.

Холм или храм,
профиль Толстого,
Рим, холостого
логова хлам,

тающий воск,
Старая Вена,
одновременно
айсберг и мозг,

райский анфас –
ах, кроме ветра
нет геометра
в мире для вас!

В вас, кучевых,
перистых, беглых,
радость оседлых
и кочевых.

В вас мне ясна
рваность, бессвязность,
сумма и разность
речи и сна.

Это от вас
я научился
верить не в числа –
в чистый отказ

от правоты,
веса и меры
в пользу химеры
и лепоты!

Вами творим
остров, чей образ
больше, чем глобус,
тесный двоим.

Ваши дворцы –
местности счастья
плюс самовластья
сердца творцы.

Пенный каскад
ангелов, бальных
платьев, крахмальных
крах баррикад,
брак мотылька
и гималаев,
альп, разгуляев –
о, облака

в чутком греху,
небе ничейном
Балтики – чей там,
там, наверху,
внемлет призыв
ваша обитель?
Кто ваш строитель,
кто ваш Сизиф?

Кто там, вовне,
дав вам обличья,
звук из величья
вычел, зане

чудо всегда
ваше беззвучно.
Оптом, поштучно
ваши стада

движутся без
шума, как в играх
движутся, выбрав
тех, кто исчез

в горней глуши
вместо предела.
Вы – легче тела,
лучше души.

1989

Содержание

Рождественская звезда 5
Новая жизнь 6
"Кончится лето. Начнется сентябрь..." 9
"Аллея со статуями..." 11
"В этой маленькой комнате все по-старому..." 13
Назидание 15
"Только пепел знает..." 19
Реки 20
Кентавры I–IV 21
Дождь в августе 25
Открытка из Лиссабона 26
В кафе 28
Элегия 29
На столетие Анны Ахматовой 30
Памяти отца: Австралия 31
"Дорогая, я вышел сегодня из дому..." 32
Fin de siècle 33
"Пчелы не улетели..." 39
Бегство в Египет 40
Доклад для симпозиума 41
Примечания папоротника 43
Памяти Геннадия Шмакова 45
Облака 49